Всё по канону
Слава Метал

Слава Металл
Всё по канону

https://litres.ru/74691599
SelfPub; 2026

Аннотация

Даша учится владеть клинком, держать собственный облик и не спорить со старшими. В её семье о прошлом рассказывают песнями — торжественными и давно знакомыми. Но за горным проходом живут люди, которые помнят те же события иначе.

Там время идёт с другой скоростью, а старая война всё ещё определяет, кому позволено говорить. Разбираясь в чужих воспоминаниях, Даша всё чаще нарушает правила, смысл которых ей ещё только предстоит понять.

«Всё по канону» — фантастический роман, в котором взросление девушки, история перемирия и пять песен постепенно меняют смысл друг друга.

Содержание

ПЕСНЯ 1. ГИМН ХИТРОЙ ПРАБАБКЕ 5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 8
ГЛАВА 1 9
ГЛАВА 2 21
ГЛАВА 3 32
«ПЕРЕМИРИЕ» 43
СЦЕНА ПЕРВАЯ. МЕЛЬНИЦА. НОЧЬ ПЕРВАЯ 43
СЦЕНА ВТОРАЯ. ЛАГЕРЬ. ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ 53
ПЕСНЯ 2. СЛУЖЕБНАЯ БАЛЛАДА ПЕРВОГО ОТДЕЛА 59
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 63
ГЛАВА 4 64
ГЛАВА 5 74
Конец ознакомительного фрагмента. 83

Слава Металл
Всё по канону

Всё по канону

Слава Металл

Автор выражает особую благодарность Егору Кожевникову, без которого эта книга не стала бы по-настоящему самостоятельным произведением.

Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen,
Wenn es euch nicht von Herzen geht.

Иоганн Вольфганг Гёте. «Фауст», часть I

ПЕСНЯ 1. ГИМН ХИТРОЙ ПРАБАБКЕ

Первый отдел. Без подписи. Напев вечерний, старый.
Вечером в Первом отделе седлали,

в ночь, на простор.

Лидия в шутку смеялась — внимали

горы и бор.
Хитрая Лидия, отдела из Первого,

смех да шатёр,

кровь Бориславa несла через горы

в казённый двор.
Шла она мимо костров, не скрываясь,

тихо, одна,

в стане врага у шатра улыбалась,

хитра, умна.
Меч опустил, говорят, первый мечник,

Яблограда князь;

кровь Бориславa взяла и смеялась,

не убоясь.
Хитрая Лидия, отдела из Первого,

смех да шатёр,

кровь Бориславa несла через горы

в казённый двор.
Трубы в воротах трубили до неба,

славу везла;

к отчим дверям, как добычу с похода,

дочь принесла.
Бабка — Галина, а мать моя — Нина;

кто я — пою:

правнучка Лидии, Первый отдел мой,

кровь — признаю.
Хитрая Лидия, отдела из Первого,

смех да шатёр,

кровь Бориславa несла через горы

в казённый двор.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НЕПОДВИЖНОЕ МЕСТО

ГЛАВА 1

ТЁПЛЫЙ ХЛЕБ

Последнее утро срока Осип начал так же, как первое: стукнул палкой в косяк и ушёл, не дожидаясь ответа. Я полежала ещё, глядя на балку над нарами. Зарубок было двадцать одна. Последнюю я процарапала вчера ногтем, потому что нож уже лежал в сумке, а ждать до утра не хотелось.

В Складке не бывает погоды. Небо здесь с утра до вечера одного цвета, как выскобленная миска, и свет ровный, без теней. К концу первой недели начинаешь скучать по собственной тени, как по собаке. Двор утоптан до звона. Младшие, двое мальчишек из дальней ветви, уже бегали круги вокруг колодца. Тот, что повыше, махнул мне рукой, сбился с шага и получил от Осипа палкой по икре: не больно, для порядка.

— Нижняя стойка, — сказал мне Осип. — Пока не скажу.

Я встала. Ноги шире плеч, колени над носками, клинок перед грудью, локти не задирать. Первые сто вдохов — просто работа. Бёдра греются, потом горят, потом начинают мелко дрожать, как у лошади после галопа, и главное — не смотреть на них. Я смотрела на ворот колодца. Верёвка на нём была перекручена, и я дважды пересчитала витки.

Потом стало легче. Это всегда плохой знак.

Пятки сами пошли вверх, будто под ними выросла зем-

ля. Колени захотели согнуться не в ту сторону, и это было не больно, а приятно, как когда наконец садишься. Кожа на предплечьях натянулась и потемнела. Пальцы стали длиннее рукояти; я перехватила её, и она оказалась лёгкой, как прут. Двор сделался громким. Я слышала, как дышат мальчишки на дальнем круге, как скрипит в колодце ведро, которого никто не трогал, как щёлкает у Осипа в колене, когда он переносит вес.

— Дарья, — сказал он. Без нажима, как зовут к столу. Дашей он меня не зовёт никогда, сколько ни проси.

Я стала собирать себя обратно. Этому меня учили с детства, и способ у меня свой, некрасивый: я считаю то, что должно быть. Пять пальцев на правой. Пять на левой. Пятка на земле. Вторая пятка. Зубы ровные, мои. Колени вперёд. Это похоже на судорогу наоборот: мышцу не отпускаешь, а заставляешь вернуться туда, где ей неудобно. Когда я досчитала до коленей, меня вырвало водой, которую я выпила на рассвете.

Осип подождал, пока я утрусь.

— Шесть вдохов, — сказал он. — Две недели назад было десять.

— Значит, лучше.

— Значит, шесть. Стойка. Сначала.

Во второй раз я простояла до конца. Он сказал «хватит» голосом, в котором не было ни похвалы, ни недовольства, и ушёл к мальчишкам. Я села прямо на глину. Ноги долго

не слушались и дёргались сами, как у лягушки на кухонном столе, и я смеялась.

Собирались мы недолго: одеяло, котелок, мой клинок в чехле, его сумка. Сумку Осип нёс на правом плече, левое у него с войны не поднимается выше груди. Я предложила взять. Он сказал, что свою сумку донесёт сам, пока жив, а когда умрёт, я смогу забрать её вместе с ним. Смешно мне стало только у ворот.

От ворот Складки до заставы час пути по пещере. Сначала идёшь по сухому, потом под ногами начинает чавкать, и на стенах выступает соль. Осип шёл медленно: ставил палку туда, куда потом собирался поставить больную ногу. Я обгоняла и возвращалась. У развилки, где широкий ход ведёт к караульной, а узкий — к его двору, он остановился, опёрся на палку и сказал:

— Сегодня зайдём.

Я не спросила куда. Я уже считала. Двадцать один день Складки — это пять с четвертью дней дома. Пять с четвертью дней дома — десять с половиной часов в деревне. Да ещё дорога. Когда мы уходили в прошлый раз, Мирна сажала в печь вечерний хлеб, и мне досталась горбушка с самого края, такая горячая, что я перекидывала её из руки в руку. Того хлеба давно нет: половину съели за ужином, остальное утром, с молоком. Но общую печь там топят до света, и если поторопиться...

— Там час — тут полдня, — сказал Осип. — Не задер-

живайся.

Он говорит это каждый раз. Я беззвучно сказала вместе с ним. Он это увидел и не улыбнулся.

Галерея начинается у него за сараем: щель в скале, которую со двора не отличишь от любой другой. Дальше темно, и идёшь, держась рукой за камень. Камень сначала сухой и тёплый, потом холодный и мокрый. На повороте, где потолок опускается, у меня, как всегда, заложило уши, и я сглотнула. Потом запахло дымом, только не нашим, пещерным, а берёзовым, и сеном, и навозом, и впереди посерело.

Мы вышли над деревней, когда солнце ещё не поднялось над гребнем, но небо уже посветлело и по краю порозовело. Над рекой стоял туман, крыши торчали из него, как камни из воды. Над крайним двором, где общая печь, шёл дым. Я побежала.

Мирна вынимала хлеб. Она стояла у печного зева в мужниной рубахе с закатанными рукавами и длинной деревянной лопатой вытаскивала круглые караваи, шлёпала их на доску и накрывала холстом. Её малой сидел на ступеньке в одной рубашонке и грыз корку. Он увидел меня первым, завопил, поковылял навстречу, растопырив руки, и вцепился мне в волосы, как в гриву.

— Опять ты, — сказала Мирна. Она так здоровается.

Она выпрямилась, отвела локтем прядь со лба и посмотрела на меня, а потом на мою руку, которой я отцепляла малого.

— Вчера же кровило, — сказала она и ткнула пальцем себе в ладонь, туда, где у меня был порез.

У меня там осталась тонкая розовая полоска. Порезалась я в прошлый раз о край её же ведра, и она замотала мне руку тряпкой. Я сказала, что на мне всё заживает, как на собаке, и что у нас в роду все такие. Мирна хмыкнула и больше не спрашивала. Она оторвала мне кусок от крайнего каравая, и от него пошёл пар.

Ничего вкуснее я не знаю. У нас пекут хорошо, но хлеб там — просто хлеб. Здесь корка трескалась под зубами и была солёной, а мякиш внутри такой горячий, что приходилось держать его во рту и дышать, как собака. Малой смотрел на меня и тоже открывал рот. Я дала ему мякиша, он подул, как я, и засмеялся.

Мимо прошёл муж Мирны с косой на плече. Он кивнул Осипу, мне тоже кивнул, но на полпальца позже, и пошёл к лугам, не оглядываясь. Мирна крикнула ему вслед что-то про обед. Он поднял руку, не поворачиваясь.

Осип сел на лавку у стены, где солнце уже грело камень. Мирна принесла ему кружку молока, и он размачивал в ней хлеб, потому что зубов у него меньше, чем он делает вид. Сидел, прикрыв глаза, и молчал. В деревне он всегда молчит больше, чем дома.

Потом я пошла к реке.

Под мельничной запрудой есть яма, где вода стоит тёмная и глубокая, а дальше, у камней, её снова подхватывает те-

чение. Утром она ледяная. Я разделась до рубахи, бросила одежду на камень и вошла сразу, потому что медленно туда не войдёшь. Холод схватил за живот, за грудь, выбил из меня весь воздух. Я нырнула, открыла под водой глаза и увидела жёлтые камни на дне и свою руку: бледную, обычную, с пятью пальцами.

Здесь облик держится сам. Почему — не знаю. В Складке, дома, у бабушки я всегда немного держу себя, как держат спину за столом у старших. Здесь — нет. Я плыла против течения к камням, течение сносило меня обратно, я снова плыла и ни разу не вспомнила о своих коленях. Когда я вылезла, губы были синие, а зубы стучали так, что я не могла выговорить ни слова. Малой, которого Мирна привела к воде, кидал в меня камешками и визжал всякий раз, когда я делала вид, что сейчас его поймаю.

Мельница стоит над ямой. Колесо в этот час ещё не крутилось. Мальн, старейшина, сам открывал заслонку: налегал на рычаг всем телом, вода сначала зашипела, потом загудела, и колесо со стоном тронулось. Тут он увидел Осипа, который спустился за мной к реке, бросил рычаг и пошёл навстречу.

Мальн старый, с белой бородой, и мука въелась ему в трещины на руках. Он подошёл к Осипу и поклонился. Не кивнул, как кивают соседу, а поклонился, медленно, придерживая рукой поясницу. Потом сказал слово, которого я не знала, что-то вроде «почтенный» или «гостюшко», я так и не поняла. Пододвинул Осипу свой чурбак, на котором сидит,

когда смотрит за колесом, а сам остался стоять.

Осип сел, но палку не прислонил, а держал перед собой обеими руками. Они заговорили про воду: много ли её нынче, не подмыло ли сваи. Мальн показывал на сваи рукой. Осип отвечал коротко и по делу. Мне Мальн не кланялся ни разу, ни сейчас, ни прежде. Он улыбается и зовёт меня «девка». Меня это смешит и немного задевает: дома мне кланяются слуги, а здесь кланяются только старику, который ворчит на мои колени и не даёт мне нести свою сумку.

Я сидела на тёплом камне и сохла. Рубаха липла к спине. Солнце поднялось над гребнем и сразу стало греть, и от реки пошёл пар.

Мирна спустилась ко мне одна, без малого. Села рядом, так близко, что я чувствовала её плечо, и какое-то время смотрела на колесо. Потом заговорила.

Обычно она говорит со мной медленно и простыми словами, как с ребёнком или с чужой. Я знаю слов двести, может больше: хлеб, вода, конь, печь, иди сюда, горячо, спасибо, дождь, коса, завтра. Осип учил меня названиям вещей, а не тому, как люди говорят, когда им что-то нужно. А сейчас Мирна говорила быстро и тихо, не глядя на меня, и я ловила слова, как рыбу руками.

«…под горой…» — это я знала, хотя не знала, что оно значит. Так однажды сказал Мальн, кивнув на дальний гребень, тем голосом, каким у нас говорят о лихорадке в соседнем уделе, и Мирна тогда со смехом зажала малому уши. Даль-

ше было много незнакомых слов, потом опять «под горой», потом короткое «тал», и я не поняла, имя это или словечко вроде «там». Потом она повернулась ко мне, и по голосу я поняла, что это вопрос:

— …можешь?

Глаза у неё были сухие и очень внимательные. У меня загорелись уши. Переспрашивать я не хотела. Когда я путала слова, она говорила со мной, как с дурочкой, а сейчас впервые заговорила, как с равной: быстро, по-взрослому. Мне не хотелось, чтобы это кончилось.

— Да, — сказала я.

Мирна выдохнула, как будто долго держала что-то тяжёлое и наконец поставила. Она взяла меня за запястье, крепко, так что я почувствовала каждый её палец, и сказала «спасибо». Потом ещё что-то, тише. Потом встала, вытерла лицо рукавом, хотя лицо было сухое, и быстро, не оглядываясь, пошла вверх по тропинке к печи.

Я посидела ещё. Где-то за гребнем есть место, которое называют «под горой», и хорошего оттуда, видно, не ждут. Мы для них люди с той стороны перевала: так Осип сказал им в первый раз, и про соль сказал. Может, Мирна хотела, чтобы мы принесли весть, если что-то услышим по дороге. А может, просила совсем о другом, и «под горой» было только к слову. Я решила спросить у Осипа, что такое «тал», и не спросила: он уже стоял у мельницы и смотрел на меня так, что было ясно — пора.

Мы ушли, когда колесо разогналось и мельница загрохотала. Мирна вынесла нам каравай, завёрнутый в холст, ещё тёплый снизу. Малой спал у неё на плече. Мальн снова поклонился Осипу. На гребне я обернулась. Туман над рекой сошёл, и было видно, как по лугу идёт муж Мирны, а за ним тянется полоса скошенной травы.

На заставе Осип первым делом сел. В пещере у него разболелось колено, и последний отрезок он шёл, останавливаясь через каждые двадцать шагов, а я делала вид, что тоже устала.

Журнал Складки лежит в караульной, на полке над печкой, чтобы не отсырел. Это толстая книга в кожаном переплёте, и до середины она исписана рукой Осипа: кто вошёл, в какой день сектора, когда вышел и сколько дней прожил внутри. Дни внутри считают днями Складки, потому что важно, сколько прожил ученик, а не сколько прошло дома.

— Пиши ты, — сказал Осип и показал пальцы. Суставы у него распухли, как всегда после сырости.

Второй смотритель сидел у печи и чистил сапог. Он здесь с прошлого срока, молодой, сонный, с вечным насморком. Имени его я до сих пор не запомнила. Когда я открыла журнал, он перестал чистить и стал смотреть, как я пишу.

Вход — день сектора, который я помнила. Выход — сегодняшний. Прожито — это я считала в уме, медленно, потому что он смотрел. Там мы были двадцать один день. Сутки дома, пока мы были в деревне, — это четыре дня Складки.

Галерея туда и обратно — четыре часа, почти ещё день. Двадцать шесть без малого. Перо было расщеплённое и брызгало. Я написала «двадцать шесть», подула на чернила и подвинула журнал Осипу.

Он подписал не читая. Подпись у него — две буквы и черта, и на неё он тратит больше времени, чем я на всю строку.

Второй смотритель шмыгнул носом.

— Долгий срок, — сказал он.

— Ей надо, — сказал Осип.

Смотритель снова взялся за сапог. Я поставила журнал на полку, ровно, корешком наружу, как он стоял.

До бабушкиного удела от заставы полдня верхом. Каравай Мирны я везла за пазухой. Он остыл, и половину я съела по дороге, отщипывая, пока не обнаружила, что съела половину.

Галина была в кабинете. От неё как раз выходил проситель из захудалой семьи, в парадном кафтане, с бумагами под мышкой. Он посторонился и поклонился мне ниже, чем следовало: не знал, кто я, и решил не рисковать. В кабинете пахло сургучом и старой бумагой. Бабушка писала, не поднимая головы.

— Ты пахнешь дымом, — сказала она.

— В Складке топили.

— В Складке не бывает холодно.

— Мальчишкам бывает. Они мёрзнут.

Она подняла голову и посмотрела на меня, недолго. По-

том показала пером на середину комнаты. Там я всегда стою на уроках, лицом к окну, как будто окно — это зал.

— Родословную.

Я встала. Колени ещё помнили утро, я переступила с ноги на ногу, и она это заметила и подождала, пока я встану ровно.

— Я, Дарья, дочь Нины, внучка Галины, правнучка Лидии Первого отдела, взявшей кровь Бориславa, князя Яблоградa, первого клинка Республики Прибоя.

— Лидии из семьи Первого отдела, — сказала бабушка.

— Какая разница?

— Первый отдел — это начальник и те, кто сидит за его столом. Служат там наши, но отдел — не мы. Мы — семья при Первом отделе. Скажешь иначе перед свидетелями обоих отделов, и половина зала будет улыбаться, а другая половина запомнит. Сначала.

Я сказала сначала. И ещё раз. На третий раз она кивнула и снова стала писать, а я осталась стоять, потому что меня не отпустили.

— Сколько дней? — спросила она, не поднимая головы.

— Двадцать шесть.

Она открыла другую книгу, тонкую. Там по месяцам, с самого рождения, записано моё прожитое: бабушка записывает всё, что можно записать. Она сложила в столбик, шевеля губами.

— Семнадцать и девять, — сказала она. — Иди спать. Завтра младшие семьи при Первом отделе, от начала, с жёнами.

Я ушла. Каравай за пазухой раскрошился, и крошки потом кололи мне живот, но я их не вытряхнула, потому что уснула раньше, чем разделась.

ГЛАВА 2

ЯЗЫК

Второй срок был длиннее первого. Дома за это время проходило две недели, а в Складке я нацарапала на балке пятьдесят шесть зарубок и на сороковой перестала их пересчитывать по вечерам. Мальчишек из дальней ветви увезли, вместо них привезли одного, толстого и тихого. Он плакал по ночам в подушку и думал, что я не слышу.

Бажен приехал на тридцать первый день. Он всегда приезжает одинаково: коня оставляет снаружи, у ворот, потому что, по его словам, лошади в Складке глупеют, и входит пешком, в чистом, как на смотр. Сначала он снимает перстни. Их у него четыре, и он кладёт их в ряд на край колодца, камнем вверх, а потом всё время, пока мы работаем, нет-нет да и посмотрит, лежат ли.

Бажен из Новгорода. Это первое, что про него говорят, и первое, что он отвечает сам, когда кто-нибудь новый удивляется его имени. Весной он вышел в отставку из внешней разведки, но в службе его до сих пор узнают в коридорах и пускают туда, куда отставных не пускают. Отец когда-то завербовал его в Новгороде и тем самым снял с виселицы. С тех пор Бажен считает, что должен за мной присматривать. Присматривает он так: раз в срок приезжает ненадолго, го-

няет меня до темноты и уезжает раньше, чем я успеваю ему что-нибудь рассказать.

— Старик, — сказал он Осипу вместо приветствия. — Ты её раскормил.

— Сама ест, — сказал Осип.

— Вижу.

Он обошёл меня кругом, как обходят лошадь на ярмарке, и ткнул пальцем мне в поясницу.

— Длинный выпад. Покажи, что у тебя есть.

У меня было немного. Длинный выпад — это когда ты вдруг оказываешься на два шага ближе, чем был, а противник ещё думает, что ты там. Задняя нога остаётся на земле вся, от пятки до пальцев, и толкает. Рука уходит первой, тело за ней, а не наоборот. Я это знала, как знают молитву, и делала, как делают, когда молитву знают.

— Плечо, — сказал Бажен после первого.

После второго:

— Плечо. И пятка.

После десятого он перестал говорить и стал показывать. Встал рядом, без клинка, в своих чистых сапогах, и сделал выпад пустой рукой, медленно, будто в воде, чтобы я видела, как одно движение передаёт другое: пятка — колено — бедро — плечо — кисть. Потом быстро. Быстрого я не увидела: он был здесь, а потом там.

— Ещё, — сказал он.

Я делала. Задняя пятка отрывалась, и я заваливалась впе-

рёд. Плечо уходило раньше руки, и остриё смотрело в небо. Пот затекал в глаза, а вытирать было нельзя, потому что Бажен тут же говорил «руки!», как будто я полезла в чужую тарелку. Осип сидел на ступеньке у барака и чистил ножом яблоко. Длинная кожура свисала у него до колена и не рвалась.

— Левую пятку она заваливает внутрь с прошлого срока, — сказал Осип, не поднимая головы.

— Вижу, — сказал Бажен, хотя видно было, что раньше не видел. Он присел, посмотрел на мою ногу, взял меня за щиколотку и повернул наружу, как поворачивают ключ. — Так. Стой так. Теперь.

Потом он снял с пальца ещё один перстень, пятый, тонкий, который я не заметила, продел в него нитку и привязал к перекладине над колодцем. Перстень повис на уровне моей груди и медленно поворачивался.

— Сквозь, — сказал Бажен. — Не задев.

До темноты я не попала ни разу. На второй день, ближе к полудню, я ударила, не думая о пятке, и остриё вошло в кольцо, и кольцо тонко звякнуло о клинок и закачалось на нитке, уже надетое. Я так и осталась стоять в выпаде, с дрожащей задней ногой, и не верила.

— Хорошо, — сказал Бажен.

Он сказал это не мне, а как будто в воздух, и сразу отвернулся к колодцу проверить свои перстни. А я ещё долго чувствовала это «хорошо» где-то под рёбрами, тёплое, как глоток вина.

Вечером Осип сварил похлёбку с бараниной. Бажен ел мало, зато пил вино из своей фляги и говорил. За ужином он всегда говорит, и всегда о фехтовальщиках: кто как держит кисть, кто как дышит, кто умер от собственной красоты. В тот вечер он говорил о Бориславе.

— Одна из всадниц Лидии сходилась с ним самим, не с его людьми, — сказал он, разглядывая вино на свет. — Осталась жива. В прошлый её отпуск она рассказывала это в отделе, и я заставил её повторить трижды. Говорит, первого удара не видела. Видела, как он поднял руку, а потом уже лежала на земле, и её конь стоял над ней.

— Приукрашивает, — сказал Осип.

— Конечно. Кто признается, что просто не успел. — Бажен покрутил флягу. — Но она видела его клинок вблизи, а я нет. Лучше него сейчас нет никого, ни у нас, ни у них. Я хочу посмотреть сам.

— Он мой прадед, — сказала я. Не знаю, зачем. Это знают все, кто знает меня.

— Знаю, — сказал Бажен. — Мне это не мешает. — Он посмотрел на меня поверх фляги. — Тебе тоже не должно. Хочешь узнать, хорош ли фехтовальщик, — спроси того, кто хочет его убить. Родня всегда хвалит.

Осип встал и унёс котелок к бочке, мыть. Он уходит мыть котелок, когда разговор ему надоедает, и Бажен это знает и всегда говорит ему вслед что-нибудь вроде «старик обиделся». В тот раз не сказал.

— Останься на срок, — сказал Осип от бочки. — Поглядишь, как она растёт.

— Здесь день идёт за четыре, — сказал Бажен. — Не люблю стареть за чужой счёт.

Наутро он собрался рано. Надел перстни, все пять, по одному, проверяя каждый на свет. У ворот остановился и, уже натягивая перчатку, спросил:

— Прошлый срок сколько ты здесь прожила?

— Двадцать шесть, — сказала я.

Это вышло легко, потому что я сама это написала и сама сказала бабушке, и теперь это было просто число, как моё имя.

— Мало, — сказал Бажен. — Мне нужно, чтобы ты здесь жила, а не гостила.

Он ушёл к коню. Я стояла у ворот, пока не стих топот, и ковыряла ногтем занозу в ладони, которую получила о перекладину. Заноза вышла не сразу.

Перстень Бажен увёз, а нитку оставил. Осип привязал к ней медное колечко от старой упряжи, позеленевшее, вдвое шире Баженова, и ещё двадцать три дня я по утрам и вечерам ставила выпад у колодца, пока колечко не перестало звякать и не стало просто съезжать по клинку. Толстый мальчишка перестал плакать по ночам и начал таскать у меня сушёные яблоки из сумки. Я делала вид, что не замечаю, и перекладывала яблоки повыше.

Из Складки мы снова пошли не домой. У развилки Осип

ничего не сказал, просто свернул к своему двору, и я пошла за ним, и он сказал уже в галерее, не оборачиваясь:

— Ненадолго.

В деревне был день, и солнце уже клонилось. Пахло так, будто пахло всю жизнь, а я только сейчас заметила: скошенной травой, нагретой и чуть прелой. Над лугом у реки стояла пыль. Там косили низкую, мягкую, густую траву.

Мирна сгребала скошенное в длинные валы. Малой сидел в корзине в тени ольхи, в рубашке и чепце, и бросал на землю всё, что ему давали. Муж Мирны и ещё двое мужиков ставили копну: один подавал вилами, другой наверху топтал и укладывал. Женщин было пятеро или шестеро, и они перекрикивались через весь луг так быстро, что я не разбирала ни слова, только смех.

— Опять ты, — сказала Мирна и оглядела меня. — Похудела за три дня.

Я поняла «похудела» и «три», а «дня» угадала. Для неё меня не было три дня. Я засмеялась и не стала объяснять, что за эти три дня Бажен гонял меня, как собаку.

Я долго думала по дороге, как это сказать, и сказала, как придумала:

— Я — работа. Ты — слова.

Мирна сначала не поняла. Потом поняла и захохотала, и прокричала это через луг другим женщинам, и они тоже захохотали, и одна, рыжая, с косами, закрученными вокруг головы, что-то крикнула в ответ. Мирна махнула на неё рукой

и сунула мне грабли.

— Грабли, — сказала она, постучав по черенку.

— Грабли.

— Валок, — она показала граблями на длинную полосу травы.

— Валок.

Я сгребала. Это оказалось не так, как я думала. Я сильная, я могу простоять в нижней стойке столько, сколько скажет Осип, но грабли — не клинок. Я загребала глубоко, как будто хотела процарапать землю, и выдирала траву с корнем, а сверху оставляла то, что надо было собрать. Мирна подошла, отобрала у меня грабли, сделала три движения, лёгких, поверху, как гладят кошку, и вернула. Я сделала так же, и у меня вышло как у кошки, которую гладят против шерсти.

Через полчаса у меня горели ладони. На правой вздулся пузырь ровно там, где была Баженова заноза. Сенная труха лезла за ворот, в нос, в глаза. Я чихала так, что малой в корзине каждый раз вздрагивал и смеялся. Мирна говорила со мной на ходу, не останавливаясь, и между делом называла всё подряд: ольха, корзина, чепец, копна, пить, тень, жарко, сядь, не так, вот так. Я повторяла, и половина слов тут же вылетала из головы, а половина оставалась, сама не знаю почему. «Сядь» осталось. «Ольха» — нет.

Когда копна выросла выше человеческого роста, я пошла туда, где мужики сложили вилы, и взялась за одни. Муж Мирны спрыгнул с копны прямо ко мне. Он не крикнул. Он

просто взял вилы за черенок выше моей руки и держал, пока я не отпустила.

— Нет, — сказал он.

Это слово я знала. Он отнёс вилы к копне, воткнул их в землю зубьями вниз и сказал что-то длинное, глядя не на меня, а на копну. Я поняла «дождь» и, кажется, «сгниёт». Потом он показал мне на ведро у ольхи и на тропинку к роднику.

Я носила воду. Это я умею. Ведро было деревянное, тяжёлое, с верёвочной ручкой, которая резала мозоль. Родник был в овраге, и я бегала туда и обратно, и мужики пили прямо из ведра, через край, и вода текла им по бороде. Когда я принесла четвёртое, муж Мирны взял ведро, отпил и, отдавая, на мгновение положил свою руку поверх моей на ручку. Он повернул мою кисть так, чтобы верёвка легла не на пузырь, а на пальцы. Потом ушёл обратно на копну и больше на меня не смотрел.

К вечеру луг опустел, а копны встали в ряд вдоль реки, тёмные на светлом небе. Все сели у последней: женщины на сено, мужики на землю. Кто-то принёс хлеб и кислое молоко в крынке. Я сидела с краю, держа грабли поперёк колен, и обдирала с ладони лопнувший пузырь. Рыжая сказала что-то, глядя на меня, и все опять засмеялись, и Мирна тоже, но потом сказала рыжей что-то другое, коротко, и та перестала.

Солнце ушло за гребень. Стало сразу прохладно. Малой уснул у Мирны на коленях с хлебной коркой в кулаке. И то-

гда старшая из женщин, сухая, в тёмном платке, начала петь. Не громко, себе под нос, как поют, когда руки свободны и делать больше нечего. Остальные подхватили со второй строки.

Я перестала обдирать пузырь.

Слова были чужие, я разобрала только «вечер», «дом» и что-то вроде «спит». Но после третьей строки голоса пошли вниз, на тот низкий поворот, где мелодия будто оступается на ступеньке, и я знала, куда она пойдёт дальше, раньше, чем она туда пошла. Я знала, что на конце строки она поднимется, но не до конца, и останется висеть. Она поднялась и осталась висеть. У меня свело горло. Я открыла рот, чтобы взять этот поворот вместе со всеми, и закрыла. Пальцы так сжали черенок, что лопнувший пузырь опять потёк.

Песня была длинная. Я слушала её всю, не шевелясь, и на каждом повороте знала поворот. Когда допели, старшая сказала что-то, и все начали подниматься и отряхивать юбки от сена.

Я тронула Мирну за локоть. Слова «откуда» я не знала. Я показала на свой рот, потом в воздух, туда, где только что была песня.

— Песня — чья?

Мирна посмотрела на меня, перекладывая спящего малого на другое плечо.

— Наш, вечерний, — сказала она. — Старый. Старше меня.

Последние слова она сказала медленно, для меня, и показала рукой себе на грудь, а потом куда-то назад, за спину. Я кивнула. Сказать мне было нечего, да и слов не было. Я встала и пошла ставить грабли туда, где мужики сложили вилы, хотя грабли были Мирнины и стояли совсем в другом месте.

Осип ждал на тропе у мельницы. Солнце давно село. Когда мы вошли в галерею и я перестала видеть его лицо, он сказал в темноте:

— Двое суток.

Больше ничего.

Дома у бабушки был вечер. Она сидела в кабинете за большим листом: чертила древо для кого-то из просителей, линейкой и двумя чернилами — чёрными для живых и бурыми для мёртвых. Мне нравится смотреть, как она это делает. У неё никогда не дрожит рука, а если линия выходит кривой, она не исправляет её, а начинает лист сначала.

Я села на подоконник и стала разматывать тряпку на ладони. Пузыри под ней уже подсохли. Бабушка на меня не смотрела. Я начала напевать — тихо, просто чтобы проверить. Как в детстве, когда в комнате темно, а за дверью ещё горит свет и слышно, как она ходит.

— На повороте фальшивишь, — сказала бабушка, не поднимая головы. — Там вниз, а потом не до конца вверх.

— Я знаю.

Я спела поворот правильно. Она кивнула листу.

— Откуда она? — спросила я. — Колыбельная.

— Мать пела. — Бабушка провела линию, проверила её на свет и обмакнула перо в бурые чернила. — Откуда взяла, не говорила.

Она вписала имя в кружок, мелко, ровно, подула.

— А ты её где взяла? Я тебе её не пою с тех пор, как ты стала засыпать сама.

— Осип пел, — сказала я.

Бабушка положила перо на край чернильницы. Посидела. Потом посмотрела на мою руку, на тряпку у меня на коленях.

— Бажен?

— Бажен, — сказала я. — Выпад.

Она открыла ящик, достала глиняную баночку с гусиным жиром и поставила её на край стола, ближе ко мне. Потом снова взяла перо.

— Смажь на ночь. И не сиди на окне, дует.

ГЛАВА 3

БЕЛЫЕ КОНИ

Праздник был в большом доме. У кого-то из старших семей родился сын, и Лаврентий, начальник Первого отдела, велел позвать всех своих по отделу и союзников с детьми. Галина надела серое с серебром и весь вечер простояла у колонны, разговаривая с людьми, которым была должна родословные. Мне досталось платье с узкими рукавами, в которых нельзя было поднять руку выше плеча. Через час я поняла, что если ещё раз услышу балладу о прабабке в исполнении троих певцов, которые не могут договориться, кто из них ведёт, то либо засну, либо сменю облик прямо у стола со сладким. Я спустилась вниз.

Детский фехтовальный зал за кухнями всё такой же: низкий потолок, столбы с зарубками, пыль, кожа, сундук со стёганными куртками, которые пахнут чужим потом за много лет. На косяке у двери до сих пор видны наши метки. В десять лет моя черта выше его на палец, в двенадцать его выше моей на три. Дальше мы мериться перестали.

Кеша сидел на сундуке, болтая ногами, и ел пирог, который явно унёс сверху.

— Я так и знал, — сказал он.

Мы не виделись полгода. Он вырос, но как-то вбок: пле-

чи остались прежние, а шея стала длинной, и он слегка сутулился. Пальцы на правой руке были в чернилах, въевшихся в кожу у ногтей. Над губой у него росло что-то, что он, видимо, считал усами. Я не знала, обнять его или нет. Он, кажется, тоже не знал. Он встал, поклонился мне до пола, по-придворному, с вывертом кисти, и мы оба засмеялись, и стало можно.

— Палки? — сказал он.

— Палки.

Палки стоят там же, в углу, у каждой ободранная обмотка на рукояти. Раньше мы дрались час и расходились с синяками поровну. Теперь я ударила его по запястью на третьем движении, по плечу на втором, а в третий раз просто шагнула в длинный выпад, и конец палки упёрся ему в грудь раньше, чем он поднял свою. Я даже не думала о пятке.

Кеша опустил палку и потёр запястье.

— Это кто? — спросил он.

— Бажен.

Он присвистнул. Свистеть он так и не научился, вышло шипение.

— А я, — сказал он, — теперь переписываю. — Он показал мне пальцы. — У отца в архиве. Он говорит, раз двое старших при деле, а почерк у меня лучше всех в доме, пусть хоть почерк приносит пользу. Сундуков там двести.

— Скучно?

— Нет. — Он сказал это быстро, и я поверила. — Там всё,

что было. Берёшь лист, а он старше деда, и кто-то на полях нарисовал лошадь, потому что ему тоже было скучно.

В детстве мы играли в Лидию и Еремея. Я всегда была Лидией, потому что у меня её кровь, а Кеша — Еремеем, потому что Еремей был дядей его отца и погиб героем, а Кеша хотел погибнуть героем, но чтобы потом можно было встать и идти обедать. Мы погибали у этого сундука сотни раз.

— Еремей погиб в первом набеге после возвращения командующей, — сказал Кеша, глядя на сундук. Так говорят в его семье, слово в слово, я слышала это от его отца. — Первым пал. Отец до сих пор на каждом празднике поднимает за него чашу и проливает немного на пол.

— А ты всё ещё хочешь, как он?

— Встать потом и пойти обедать — хочу, — сказал Кеша.

Сверху, через потолок, опять запели балладу. Кеша поднял палец, послушал, поймал строку и запел вместе с ними, только своими словами. Там, где у певцов прабабка «*вышла из шатра, неся во чреве славу*», у Кеши она выходила, неся в руках штаны, потому что в шатре было жарко, а у князя оказались слишком короткие. Я икала от смеха и держалась за столб. Он допел куплет до конца, ни разу не сбившись в мелодии, и раскланялся.

— Ты стала другая, — сказал он, когда я отсмеялась. — Загорелая.

— Бажен гоняет во дворе.

— В Складке не загорают. Там солнца нет, ты сама рас-

сказывала.

Он поставил палку в угол.

— Тебя никогда нет. Я два раза заезжал к вам. Бабушка твоя говорит: в Складке. Куда ты пропадаешь?

Мне вдруг ужасно захотелось рассказать про реку. Про яму под запрудой и про то, что там облик держится сам. Я уже открыла рот.

— У меня есть место, — сказала я.

— Какое?

— Моё.

— Покажешь?

— Нет.

Кеша засмеялся, и я засмеялась тоже. Он взял с сундука недоеденный пирог, разломил пополам и отдал мне половину, как всегда. А палку, которую он поставил в угол, раньше он просто швырял туда, и она гремела. Теперь он поставил её аккуратно, обмоткой вверх, рядом с моей.

Сверху позвали к столу. Мы поднялись по разным лестницам, чтобы никто не спросил, где мы были вместе, — тоже по старой привычке.

* * *

У меня был один свободный день сектора перед новым кругом бабушкиных родословных, и я хотела провести его в деревне. Осип сказал, что там будет ночь. Я сказала, что хочу посмотреть на деревню ночью. Он долго молчал, потом сказал «посидим у Мальна» и пошёл к сараю.

Ночью деревня оказалась меньше. Дома стояли тёмные, только у мельницы горел фонарь: Мальн не спал, у него ночью мелют, когда вода ровная. Собаки узнали Осипа и меня и полаяли так, для порядка. Мы сели у Мальна на лавке под навесом. Он принёс нам по кружке тёплого пива с мёдом и сел рядом, и они с Осипом говорили медленно и мало, а я слушала, как гудит колесо, и почти уснула, привалившись плечом к столбу.

Разбудило меня железо. Кто-то бил в подвешенный у колодца лемех, часто и неровно, как будто руки у него тряслись. Мальн встал так быстро, как я ещё не видела, чтобы он вставал.

Над гребнем на востоке, там, где днём видны только камни и небо, небо было рыжее. Не как на рассвете: рыжее снизу, неровно, и в одном месте рыжее поднималось и опадало, как будто там дышали.

Люди сходились к мельнице. Женщины несли детей, завёрнутых во что попало, старики шли, держась за плетни. У одного мужика была в руках коса лезвием вверх. Мирна пришла с малым на руках. Тот спал, свесив голову ей на плечо. Муж Мирны шёл за ней с топором и узлом. Он поставил узел у стены мельницы и встал рядом с ним, глядя на гребень. Все говорили разом, быстро, вполголоса, и я ловила только «горит», «там», «за горой» и чьё-то имя, повторённое несколько раз.

Мирна встала рядом со мной. Она смотрела на гребень и

что-то шептала, одно и то же слово. Я наклонилась.

— Бледные, — шептала она.

Это слово я знала. Так она сказала про меня однажды у реки, когда у меня посинели губы. Она провела ладонью по щеке сверху вниз, будто стирала что-то, и прижала малого крепче.

Осип говорил с Мальном у двери. Я отступила за угол, потом за следующий, потом пошла вверх по тропе, по которой мы спускаемся из галереи. Тропу я знала ногами. Луны не было, зато рыжий свет за гребнем делал камни видными.

Наверху, у выхода из галереи, есть выступ, откуда видно обе стороны. Я легла на него животом.

Соседняя долина лежала внизу, глубже нашей. В ней горели три дома, может, четыре: огонь был внутри, и крыши проваливались по одной. Дым шёл ко мне и пах не берёзой. По дну долины, вдоль реки, вела дорога, и по дороге от пожара уходили всадники, далеко, шагов за четыреста. Огонь был у них за спиной, и сначала я видела только тени. Потом дорога повернула, свет лёг на них сбоку, и я увидела, что кони светлые. Почти белые. В огне они казались розовыми.

Белые кони бывают у кого угодно. У Савелия есть белые. У Лаврентия есть пара для выезда.

Всадницы шли парами, с промежутком в корпус. Каждая сидела прямо, откинувшись чуть назад, повод низко у левого бедра, а правый локоть отставлен, будто под мышкой зажат свёрток. Так держат короткое копьё. Так сидят у нас. Бабуш-

кин конюх бил меня прутом по локтю, пока я не стала сидеть так же, и я плакала и ненавидела его целое лето. Последняя в колонне повернулась в седле всем телом назад, не поворачивая коня, посмотрела на пожар и развернулась обратно. Это тоже у нас так. Замыкающая всегда оборачивается.

А между парами шли люди. Пешие, тёмные, без огня на лицах, и шли они неровно, спотыкаясь, как ходят, когда руки связаны и привязаны к чему-то впереди. Их было много. Я не стала считать.

Кто-то в голове колонны протрубил. Два коротких, один длинный. Сбор. Мы трубили так в детстве в фехтовальном зале, в деревянную дудку, когда Кеша погибал, а я его собирала.

Я лежала на камне. Камень был холодный, а лицо горело. В голове всё стояло отдельно и не хотело складываться. Наши. Это наши. Наши жгут эту долину. «Под горой» — это пещеры, а мы ходим через пещеру. Лидия воюет с Борославом. Это знает каждый, кто хоть раз учил формулу. Борислав — князь Яблограда. Значит…

Меня взяли за ворот и дёрнули назад так, что я ударилась подбородком о камень. Осип. Он лёг рядом, тяжело, со свистом в груди, и прижал меня к камню здоровой рукой.

— Лежи.

— Это наши…

— Лежи, сказал.

Мы лежали, пока колонна не ушла за поворот и трубу ста-

ло не слышно. Потом он потащил меня вниз, не за руку, а за ворот, как щенка, и я не сопротивлялась, потому что ноги шли плохо. На середине тропы он остановился, перевёл дух и сказал, не глядя на меня:

— Увидят тебя там наверху на фоне огня — и тебя, и меня. Свои увидят — хуже.

У мельницы народ уже не говорил, а ждал. Зарево за гребнем стало тусклее. Мальн сказал что-то, и я разобрала слово, которое знала: «мимо». Кто-то заплакал, тихо. Муж Мирны поднял свой узел, подержал и опять поставил.

Мирна посмотрела на меня. На подбородок, где была ссадина от камня, и на руки, которые у меня тряслись.

— Видела? — спросила она.

— Нет, — сказала я.

Она ещё немного посмотрела и отвернулась к малому, который проснулся и начал хныкать. Она стала его качать, переступая с ноги на ногу, и больше на меня не глядела.

Мы ушли, когда люди начали расходиться по домам. Никто не пошёл спать. В окнах зажигали свет.

* * *

В галерее было темно, как всегда, и Осип шёл впереди, стуча палкой. Я шла за ним и смотрела ему в спину, которую не видела.

— Это наши были, — сказала я.

— Наши.

— Ты водишь меня на фронт прабабки.

Палка стукнула ещё три раза.

— Да.

— Это под Яблоградом.

— Под Яблоградом.

— Его земля.

— Его.

Я остановилась. Он прошёл ещё несколько шагов и тоже остановился. Я слышала, как он дышит: после тропы колено у него всегда болит сильнее.

— Зачем?

— Здесь тихо, — сказал он.

— Тихо? Там горело!

— За гребнем горело. В этой долине тихо.

— Почему?

Он не ответил. Капала вода. Где-то впереди, у поворота, где закладывает уши, тянуло холодом.

— Зачем ты водишь туда меня?

— А время дорогое, — сказал Осип. Он сказал это так, как говорит про мои колени, буднично. — Мне там час на лавке посидеть — дома полдня пройдёт, а я на час постарею. Мне выгодно.

— Это не ответ.

Он пошёл дальше. Я пошла за ним. Больше он ничего не сказал до самой заставы, а я не спрашивала, потому что поняла, что не скажет, и не хотела слышать, как он не говорит.

У него во дворе я села на поленницу. Небо над заставой

было обычное, домашнее, ровное. Осип поставил на огонь воду и сел напротив, вытянув ногу.

Я думала, что больше туда не пойду. Я честно так думала, пока шла по галерее. Там жгут дома, и по дорогам ведут людей на верёвках, и наши трубят сбор, а если меня кто-то увидит, то увидят меня, а не мою родословную. Я думала это долго, и чем дольше думала, тем лучше видела другое: яму под запрудой, где я ни разу не вспомнила о своих коленях. Мирну, которая говорит «опять ты» и держит меня за запястье так, что чувствуешь каждый палец. Слово «отава». Лавку у стены, на которой Осип сидит с закрытыми глазами. Дома всё, что у меня есть, принадлежит дому: формула, клинок, Баженово «хорошо», даже мои двадцать шесть дней записаны у бабушки в книге. А это — нет. Это я нашла сама, и это моё.

— Я пойду ещё, — сказала я.

Осип подул на воду, как будто она могла от этого быстрее закипеть.

— И бабушке — ни слова, — сказала я. — Никогда.

Я приготовилась спорить. Бабушка никогда не говорит «Яблоград». На уроках, когда я дохожу в формуле до последних слов, она перестаёт слушать: смотрит в бумаги и кивает, хотя на всех остальных словах ловит каждую букву. Однажды за ужином гость назвал этот город, и бабушка спросила его про дождь. Если она узнает, тропы не будет. И тебя на заставе не будет, хотела сказать я, сидеть тебе в людской у

Лаврентия. Я набрала воздуху.

— Хорошо, — сказал Осип.

Сразу. Даже не посмотрел на меня.

Я выдохнула и не знала, что делать с остальным воздухом. Я ждала, что он хотя бы скажет «посмотрим» или «не мне решать». А он сидел, вытянув больную ногу, и смотрел в огонь. Я решила, что он стесняется. Мальну он кланяется в ответ и краснеет, ест хлеб Мирны и не поднимает глаз. Старики не любят признаваться, что им где-то хорошо. Он боится потерять свою лавку не меньше, чем я свою реку, подумала я, и мне стало его жалко и немного смешно.

Вода закипела. Он заварил в кружке какую-то траву, отпил и протянул мне, и я пила, держа кружку двумя руками, потому что руки всё ещё тряслись, а подбородок саднило.

«ПЕРЕМИРИЕ»

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ.
МЕЛЬНИЦА. НОЧЬ ПЕРВАЯ

Мельница в горной долине, за семьдесят лет до событий романа. Дверь наружу, за ней навес и коновязь. Низкая дверь в жилую каморку мельника: там очаг, лавка, на полу мешки с мукой. В глубине мельницы жёрнов и тёмный вал колеса. Колесо остановлено. Шумит буря, вода бьёт в заслонку. Ночь.

У очага мать Мирны пересыпает муку из короба в мешок. Мирна, четырнадцати лет, спит на лавке, укрытая тулупом. В каморке спит её младший брат Тал, лет десяти. Мальн при фонаре осматривает заслонку.

Снаружи ржание, потом второе, высокое, обрывающееся. Стук в дверь: не кулаком, а рукоятью.

МАЛЬН *(не открывая)*. Кто?

ГОЛОС ЛИДИИ. Люди с раненым.

МАЛЬН. Чьи люди?

Пауза. Стук повторяется, теперь медленно, три раза.

МАТЬ МИРНЫ *(вполголоса)*. Не открывай.

МАЛЬН. Сломают.

Мальн берёт из угла ветку, обмотанную белой тряпкой, ставит фонарь на жёрнов и открывает дверь. Ветер. На пороге Лидия в мокром плаще, с обнажённым мечом, опущенным к земле. За её спиной у коновязи Осип, двадцати лет, держит под уздцы трёх коней. Одна раненая всадница сидит на земле, привалившись к столбу; другую Осип придерживает на седле свободной рукой.

Мирна просыпается и садится.

ЛИДИЯ *(видит ветку)*. Это у вас что значит?

МАЛЬН. Что я старший и что в доме дети.

ЛИДИЯ. Я вижу одного.

МАЛЬН. Другой в каморке. Спит.

Лидия смотрит на мать Мирны, на Мирну, на жёрнов. Не входит.

ЛИДИЯ. Мне нужна крыша до утра. Для двух. Им нужен огонь и вода, одной — нитка с иглой.

МАЛЬН. Вы из-под горы.

ЛИДИЯ. Да.

МАЛЬН. Из-под горы приходят ночью и уходят с людьми.

ЛИДИЯ. Сегодня мы пришли с людьми и уйдём с ними же. Своими.

МАТЬ МИРНЫ. Скажи ей, пусть уходит.

МАЛЬН *(не оборачиваясь)*. Скажу, если она уйдёт.

ЛИДИЯ. Не уйду. У меня конь со сломанной ногой и две

девки, которые до пещер не доедут. До рассвета я не успею, а на рассвете у ваших устьев будут ваши люди.

МАЛЬН. Будут.

ЛИДИЯ. Значит, или я сижу здесь, или я сижу в другом доме. Выбирай, какой дом.

Пауза. Ветер. Раненая у столба тихо стонет.

МАЛЬН. Если я тебя пущу, а утром твои придут за тобой — они придут сюда. Если я тебя не пущу, а ты войдёшь сама — ты уже здесь. Если я пошлю за людьми князя…

ЛИДИЯ. До них час по такой воде. Я буду здесь раньше.

МАЛЬН. Я знаю. Потому и не посылаю.

Мальн отступает на шаг внутрь, освобождая порог, но не убирая ветки.

МАЛЬН. Так. Раненых в каморку, к огню. Твои люди никого здесь не трогают: ни меня, ни её, ни девку, ни скотину, ни зерно. Мы никого не зовём до света. На свету уходишь.

ЛИДИЯ. На свету не уйду, на свету меня увидят. Уйду, когда смогу.

МАЛЬН. Тогда до того, как сможешь.

ЛИДИЯ. И оружие при нас.

МАЛЬН. Оружие при вас. Но в ножнах.

Лидия смотрит на свой меч, потом убирает его в ножны. Оборачивается к Осипу.

ЛИДИЯ. Слышал?

ОСИП. Слышал.

ЛИДИЯ. Светлану — внутрь. Лизавете поможешь

слезть. Сам на двор, к коням.

Осип снимает раненую с седла. Лидия поднимает вторую от столба и, подставив плечо, ведёт её в дверь. Малын отступает ещё, пропуская.

МАЛЬН *(матери Мирны)*. Воды поставь. Тряпки.

Мать Мирны не двигается.

МАЛЬН. Поставь воды.

Мать Мирны ставит котелок на огонь. Лидия и Осип вносят раненых в каморку. Светлану кладут на лавку. Мирне приходится встать: она стоит у стены, прижимая к себе тулуп. Лизавету Лидия усаживает на мешки, спиной к стене. У Лизаветы на плече под плащом разрублена кожаная куртка.

ЛИДИЯ *(матери Мирны)*. Игла есть?

МАТЬ МИРНЫ. Есть.

ЛИДИЯ. Дай.

Мать Мирны достаёт из-за пояса иглу с ниткой и не отдаёт, а сама подходит к Лизавете. Лидия смотрит на неё. Мать Мирны, не спрашивая, раздвигает разрез на куртке и смотрит рану.

МАТЬ МИРНЫ. Вода нужна горячая. И держать её.

ЛИДИЯ. Я подержу.

Лидия садится на мешки за спиной Лизаветы и берёт её за плечи. Мать Мирны начинает шить. Лизавета сжимает зубы. Мирна у стены смотрит, не отрываясь.

МИРНА *(матери)*. Тулуп ей?

МАТЬ МИРНЫ. Отдай.

Мирна укрывает тулупом Светлану на своей лавке и отходит к очагу.

Со двора короткое высокое ржание, потом глухой удар. Тишина, только буря. Мирна вздрагивает. Мальн выходит на порог мельницы и смотрит во двор.

МАЛЬН. Он коня…

ЛИДИЯ *(не поднимая головы)*. Нога сломана. Мог бы — не стал бы.

Мальн долго стоит в дверях. Входит Осип, мокрый, с ножом в руке. Вытирает нож о штанину. Останавливается: в доме чужие, он не знает, куда встать.

ЛИДИЯ. Нож убери. Сядь у двери.

ОСИП. Снаружи?

ЛИДИЯ. Внутри. Чтобы видно было и двор, и нас.

Осип садится на порог мельницы, спиной к косяку. Мальн ставит у другого косяка свой фонарь и садится напротив, на чурбак. Они оказываются лицом друг к другу через порог.

Мать Мирны кончает шить и обрывает нитку зубами.

МАТЬ МИРНЫ. Чистая рана. Лихорадки не будет — встанет.

ЛИДИЯ. Спасибо.

Мать Мирны не отвечает. Она идёт к Светлане и трогает ей лоб.

МАТЬ МИРНЫ. А эта горячая.

ЛИДИЯ. Знаю. Её конь придавил.

МАТЬ МИРНЫ. Ей лежать сутки. Не меньше.

Пауза.

ЛИДИЯ. Сутки?

МАТЬ МИРНЫ. Посадишь в седло раньше — довезёшь мёртвую.

Лидия встаёт и выходит из каморки на мельницу. Останавливается у жёрнова. Мальн и Осип смотрят на неё с двух сторон порога.

ЛИДИЯ *(Мальну)*. Что у вас за мельницей?

МАЛЬН. Скала. Козья тропа на гребень.

ЛИДИЯ. Кто ходит?

МАЛЬН. Козы.

ЛИДИЯ. Фонарь мне дашь?

МАЛЬН. Ночью, в бурю, на козью тропу?

ЛИДИЯ. Дашь или нет?

Мальн, помедлив, протягивает ей фонарь. Лидия берёт его, на ходу поправляет на поясе меч и выходит за мельницу. Свет фонаря проходит мимо окна и пропадает.

Осип встаёт.

МАЛЬН. Сядь. Она сказала: сядь.

Осип садится. Пауза. Буря.

Мирна выходит из каморки, останавливается у жёрнова, смотрит на Осипа.

МИРНА. Это твой был? Конь.

ОСИП. Светланы. Той, что у вас на лавке.

МИРНА. Белый?

ОСИП. У нас все белые.

МИРНА. Как вы их в темноте видите?

ОСИП. А мы не видим. Мы их слышим.

МАТЬ МИРНЫ *(из каморки)*. Мирна.

Мирна уходит в каморку. Мальн достаёт из-за пазухи кисет, набивает трубку, долго не может прикурить. Осип вынимает из своей сумки огниво и протягивает ему через порог. Мальн берёт, прикуривает, отдаёт обратно.

МАЛЬН. Сколько тебе?

ОСИП. Двадцать.

Мальн кивает и курит.

Долгая пауза. Свет фонаря возвращается за окном. Входит Лидия, мокрая насквозь, без плаща: плащ у неё в руке, скомканный. Ладони в ссадинах, на щеке грязь. Ставит фонарь на жёрнов. Дышит тяжело, как после долгой работы.

ЛИДИЯ. Теперь гонец пройдёт и днём.

ОСИП *(встаёт)*. Где?

ЛИДИЯ. За сараем вверх по тропе, до камня, где вода идёт из стены. От камня вправо, в щель, и дальше прямо, никуда не сворачивай, пока не заложит уши. Выйдешь к нашим, мимо устьев. Его дозоров там нет.

МАЛЬН. Там нет никакой щели. Я сорок лет там коз гонял.

ЛИДИЯ. Теперь есть.

Мальн смотрит на неё. Потом на свою трубку, погасшую.

Лидия садится на мешок у жёрнова, достаёт из сумки на поясе кожаный футляр, из футляра узкий лист и грифель. Пишет на колене, коротко. Складывает, суёт обратно в футляр, затягивает шнурок.

ЛИДИЯ. Осип.

Осип подходит. Она отдаёт ему футляр.

ЛИДИЯ. Варваре в руки. Больше никому.

ОСИП. Сейчас?

ЛИДИЯ. Сейчас, пока темно.

Осип поворачивается к двери. Мальн встаёт с чурбака и становится в проёме.

МАЛЬН. Нет.

ЛИДИЯ. Уговор был о моих людях. Он мой человек, он никого не тронет.

МАЛЬН. Уговор был: твои никого не трогают, мы никого не зовём. Твой парень уйдёт один — вернётся не один. Это я знаю, как то, что вода вниз течёт. Уходить — так всем разом, раненым с ним. Пока они лежат здесь, он сидит здесь.

ЛИДИЯ. Мои там будут двенадцать дней считать меня мёртвой.

МАЛЬН. А мои здесь живы.

Пауза. Лидия смотрит на Мальна, на дверь каморки, на белую ветку у стены.

ЛИДИЯ. Светлане лежать сутки.

МАЛЬН. Значит, сутки.

Лидия кивает. Мальн отходит от двери и садится об-

ратно на чурбак.

ЛИДИЯ *(Осипу)*. Пойдёшь, когда она сможет сидеть в седле: с ней и с Лизаветой, на двух конях, ведя в поводу. Это к вечеру.

ОСИП. Там двенадцать дней пройдёт.

ЛИДИЯ. Знаю.

ОСИП. А вы?

ЛИДИЯ. А я здесь.

Осип прячет футляр за пазуху. Стоит.

ЛИДИЯ. Что?

ОСИП. Ничего, командующая.

ЛИДИЯ. Тогда к коням.

Осип выходит на двор. Лидия сидит. Мальн выбивает трубку о косяк.

МАЛЬН. Я сказал — до того, как сможешь.

ЛИДИЯ. Слышала.

МАЛЬН. А сама собираешься остаться.

ЛИДИЯ. Мне нужно, чтобы утром ты послал к нему человека.

МАЛЬН. К кому?

ЛИДИЯ. К князю.

Мальн медленно встаёт с чурбака.

ЛИДИЯ. Не за людьми. С вестью. Что у тебя на мельнице командующая из-под горы и что она хочет говорить: о раненых, его и моих, и о перевале. Пусть придёт сам или пришлёт, кого сочтёт нужным. Я буду ждать здесь и твоих людей

не трону.

МАЛЬН. А если он придёт с войском?

ЛИДИЯ. Тогда ты скажешь, что я тебя заставила. И это будет правда.

Мальн смотрит на белую ветку, прислонённую к стене. Берёт её, отряхивает с тряпки муку и ставит у двери, снаружи, под навес.

МАЛЬН. Утром.

ЛИДИЯ. Утром.

Мальн садится обратно на чурбак, лицом к двору. Лидия остаётся сидеть на мешке. Из каморки выходит Мирна с кружкой горячей воды. Останавливается, не зная, кому её отдать. Мать Мирны из каморки:

МАТЬ МИРНЫ. Ей. Той, что промокла.

Мирна подходит и протягивает кружку Лидии. Лидия берёт её обеими руками и пьёт. Мирна стоит рядом, смотрит на её ссадины.

ЛИДИЯ. Спасибо.

МИРНА. А вы правда смеётесь, когда в набег идёте?

МАТЬ МИРНЫ. Мирна!

ЛИДИЯ *(Мирне)*. Кто говорит?

МИРНА. Все.

ЛИДИЯ. Иди спать.

Мирна уходит. Лидия допивает, ставит кружку на жёрнов. Буря. Мальн у двери, Осип во дворе у коней, Лидия у жёрнова.

СЦЕНА ВТОРАЯ. ЛАГЕРЬ. ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ

Подгорье. Площадка у выхода из пещер: каменная стена с чёрным устьем, коновязь, бочка с водой, на козлах доска с картой под камнями. День, серый, без солнца. Слышны лошади и голоса.

Варвара стоит у коновязи и щупает переднюю ногу белой кобыле. Рядом две всадницы, Ольга и Татьяна, при оружии.

ТАТЬЯНА. Двенадцатый.

ВАРВАРА. Я считать умею.

ОЛЬГА. Если её взяли, нам бы дали знать. Ему выгодно дать знать.

ВАРВАРА. Если её взяли.

ТАТЬЯНА. А если не взяли, где она двенадцать дней?

ВАРВАРА *(выпрямляется, вытирает руку о штаны)*. Татьяна. У твоей серой подкова слетела ещё вчера. Иди.

Татьяна не уходит.

ТАТЬЯНА. Девки говорят…

ВАРВАРА. Девки говорят, что у Ольги жених во Втором отделе. Иди к кузнецу.

Татьяна уходит. Ольга остаётся.

Из устья пещеры слышен стук копыт по камню, медленный. Варвара поворачивается. Ольга кладёт руку на меч.

Из устья выходит Осип. Он ведёт в поводу двух коней. На

одном, пригнувшись к шее, сидит Светлана, обмотанная тулупом. На другом Лизавета с рукой на перевязи. Осип бледный от усталости, в той же мокрой и высохшей одежде.

ОЛЬГА. Светлана!

Ольга бежит к коню Светланы. Варвара стоит.

ВАРВАРА. Ты откуда вышел?

ОСИП. Оттуда. (Показывает назад, в пещеру.)

ВАРВАРА. Из главного?

ОСИП. Из бокового. Там теперь Дорога. Новая.

Варвара коротко смотрит в устье, потом снова на него.

ВАРВАРА. Она где?

ОСИП. Там. Цела.

Осип достаёт из-за пазухи кожаный футляр и протягивает. Варвара берёт, развязывает шнурок зубами, вынимает лист. Читает про себя. Потом ещё раз. Потом поднимает глаза на Ольгу, которая снимает Светлану с седла, и читает вслух, негромко, ровно, как зачитывают приказ:

ВАРВАРА. «Держи лагерь. Веду разговор о раненых и перевале. Еремею ни слова. Вернусь до него». (Пауза.) Её рука.

ОСИП. Её.

ВАРВАРА. Она писала сидя или стоя?

ОСИП. Сидя. На колене. На мешке с мукой.

ВАРВАРА. На мешке с мукой.

Варвара складывает лист и прячет его в рукав. Подходит к Светлане, которую Ольга усадила на землю у бочки. Трогает ей лоб тыльной стороной ладони.

ВАРВАРА. К лекарю. Обеих. (Ольге.) И сама с ними. Потом ко мне.

Ольга и Лизавета уводят Светлану. На пороге Светлана оборачивается.

СВЕТЛАНА *(слабо)*. Командующая с ними хлеб ест. С мельником.

ВАРВАРА. У тебя жар. Ты бредишь. Ольга, слышала? Бредит.

ОЛЬГА. Слышала.

Уходят. Варвара и Осип одни.

ВАРВАРА. Пить хочешь?

ОСИП. Хочу.

Варвара зачерпывает из бочки ковшом и подаёт ему. Он пьёт. Она смотрит, как он пьёт.

ВАРВАРА. Когда вышел?

ОСИП. Вечером. Светлана до вечера не могла сидеть.

ВАРВАРА. А один почему не пошёл? Записке ноги не нужны.

ОСИП. Мельник не пустил. Сказал: один уйдёт — двадцать вернутся. Или все раненые разом, или никто. Командующая согласилась.

ВАРВАРА. Умный мельник.

ВАРВАРА. Каким вечером?

ОСИП. Тем же. После той ночи. Мы там день просидели. Один.

ВАРВАРА. Один день. (Пауза.) А мы тут двенадцать дней

оставляли вам места у огня. Двое девок уже ссорились из-за твоего седла.

ОСИП. Моего?

ВАРВАРА. Хорошее седло. Где конь Светланы?

ОСИП. Ногу сломал. Я его…

ВАРВАРА. Сам?

ОСИП. Она велела.

ВАРВАРА. Правильно велела. (Пауза.) Чисто?

ОСИП. С первого раза.

ВАРВАРА. Ладно.

Варвара идёт к козлам с картой, сдвигает камень, разглаживает карту ладонью.

ВАРВАРА. Покажи, где.

Осип подходит и показывает пальцем.

ОСИП. Тут мельница. Тут за сараем тропа. Тут камень, где вода из стены. А дальше на карте ничего нет.

ВАРВАРА. Дальше ничего и не было.

Она смотрит на карту. Потом отходит, считает про себя, шевеля губами и загибая пальцы на опущенной руке.

ВАРВАРА. Ревизор приезжает на сороковой. Может, на тридцать восьмой, если дорога сухая. Это двадцать восемь дней. (Пауза.) У них это два дня. С небольшим.

ОСИП. Она сказала: вернусь до него.

ВАРВАРА. Я читала.

ОСИП. Она вернётся.

ВАРВАРА. Что она там делает?

ОСИП. Сидит у жёрнова. Мельник утром пошёл в соседнюю долину. К тем.

ВАРВАРА. К тем.

ОСИП. С белой веткой. Она его попросила.

ВАРВАРА. Попросила.

Пауза. Варвара снимает с пояса флягу, отпивает сама, протягивает Осипу. Он отпивает и отдаёт.

ВАРВАРА. Что ещё.

ОСИП. Там девчонка коня моего кормила хлебом с руки. А мать её Лизавете шила, лучше нашего лекаря.

ВАРВАРА. Я не про девчонок.

ОСИП. Больше ничего. Командующая велела — Варваре в руки, и всё.

Входит Татьяна. Останавливается поодаль.

ТАТЬЯНА. Варвара. Девки спрашивают, где командующая.

Варвара не оборачивается.

ВАРВАРА. Где надо.

ТАТЬЯНА. А им что сказать?

ВАРВАРА. Это и скажи. Слово в слово. И скажи, что на пещерах с сегодняшнего дня двойной пост. И что ко мне на доклад к вечеру все десятницы. И что кто будет болтать с кем-нибудь из чужих отрядов, пойдёт пешком чистить конюшню во Втором отделе. Иди.

Татьяна уходит.

ОСИП. Мне обратно.

ВАРВАРА. Тебе спать.

ОСИП. Она ждёт.

ВАРВАРА. Ты сколько не спал?

ОСИП *(подумав)*. Ночь и день.

ВАРВАРА. Там ночь и день. А тут тебе нужно два часа. Ляжешь у меня в палатке на кошме, сапоги снимешь. Через два часа разбужу, дам ответ.

ОСИП. Два часа — это у них…

ВАРВАРА. Я знаю, сколько это у них. Это у них десять минут. Она подождёт десять минут. А ты свалишься с седла посреди своей новой Дороги, и я буду искать тебя ещё двенадцать дней. Иди.

Осип медлит, потом идёт к палатке. У самого выхода оборачивается.

ОСИП. Варвара. Что ответить?

Варвара держит в руке пустой ковш. Ставит его на край бочки.

ВАРВАРА. Я напишу.

ОСИП. А на словах?

Пауза.

ВАРВАРА. На словах — что её запасная кобыла жеребая. Пусть знает.

Осип уходит. Варвара остаётся одна. Достаёт из рукава записку, читает снова. Подходит к устью пещеры и стоит, глядя в темноту. Потом возвращается к коновязи и снова нагибается к белой кобыле.

ПЕСНЯ 2. СЛУЖЕБНАЯ БАЛЛАДА ПЕРВОГО ОТДЕЛА

Сложена к наречению Галины, дочери Лидии. Последняя редакция: строфа о Еремее внесена в год Испытания Дарьи

I

Белых кобылиц выводит Первый в ночь,

Лидия ведёт, и смех её как сталь.

Под горой ворота, стражу гонит прочь

ветер с перевала, и открыта даль.

II

Шла она одна сквозь вражеский дозор

и смеялась так, что падали мечи,

и не смел никто поднять на деву взор,

и молчали трубы, и костры в ночи.
Белые кони, белые кони,

смех над горой и в шатре врага.

Кто её встретит — меча не тронет.

Кто её ждёт — тому ночь недолга.

III

Ждал её в шатре, оружием звеня,

тот, пред кем бледнела вражеская рать, —

Борислав, князь Яблограда. И князья

перед ним не смели меч из ножен брать.

IV

Лидия смеялась — и не по уставу

опустил тот витязь свой булатный меч.

Вышла из шатра, неся во чреве славу,

кровь его, что Первому дано беречь.
Белые кони, белые кони,

смех над горой и в шатре врага.

Кто её встретит — меча не тронет.

Кто её ждёт — тому ночь недолга.

V

Трубы на заре трубили у ворот

всаднице, что кровь врага домой несла,

и склонился перед ней высокий зал,

и вино лилось, и песня в ночь плыла.

VI

Дочь Галиной нарекли в высоком зале —

кровь двух берегов в одном её огне,

и над колыбелью трубы прозвучали,

Лидия держала кубок в тишине.
Белые кони, белые кони,

смех над горой и в шатре врага.

Кто её встретит — меча не тронет.

Кто её ждёт — тому ночь недолга.

VII

Лидия в Подгорье снова воротилась,

строгий ревизор наш первым шёл в набег,

и упал он первым, и трава склонилась.

Славься, Еремей, ты с нами и навек!
Белые кони, белые кони,

смех над горой и в шатре врага.

Кто её встретит — меча не тронет.

Кто её ждёт — тому ночь недолга.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧУЖИЕ ЧАСЫ

ГЛАВА 4

КАМЕНЬ

Мать приехала под вечер, и я узнала об этом раньше, чем увидела её, потому что лошади в конюшне начали бить в перегородки.

Я была во дворе, у столба, где Осип по моей просьбе повесил нитку с колечком, и бросила клинок прямо в пыль. Через двор от ворот к крыльцу шло то, что было моей матерью, и конюх держался от него шагов за десять, хотя знал её двадцать лет. Оно было выше человека на голову. В сумерках по краям оно казалось не совсем твёрдым, будто сделано из дыма, который кто-то держит в кулаке. Там, где у человека плечи, что-то отсвечивало зелёным, как вода в колодце. Оно остановилось у крыльца, повернуло ко мне то, что было головой, и я услышала её голос, только ниже и с гулом, как из бочки:

— Дарья. Ты выросла.

— Ты тоже, — сказала я, и оно засмеялось. Смех у неё в любом облике одинаковый, короткий, через нос.

— Мне нужно часа два, — сказала мать. — Скажи бабушке, к ужину буду.

Она ушла в дом, наклонившись в дверях. Я подобрала клинок, вытерла его о штаны и пошла к себе. У меня на пол-

ке над кроватью лежат её камни. Девятнадцать штук, по одному с каждого приезда, с тех пор как мне было три года. Красный, в котором что-то шевелится, если долго смотреть. Чёрный, тёплый даже зимой. Прозрачный, внутри которого пузырёк воздуха никогда не поднимается. Я переложила их, освобождая место для двадцатого, и разозлилась на себя за то, что освобождаю место.

К ужину она спустилась в человеческом облике, в сером дорожном, с мокрыми после умывания волосами. Она была меньше, чем я её помнила, или я стала больше. Обняла меня у лестницы. Руки у неё были горячие, как у человека с жаром, и, обнимая, она держала меня чуть дольше, чем нужно, а потом я поняла, что она держится за меня, чтобы постоять.

Бабушка уже сидела за столом. Они поздоровались, как здороваются люди, которые часто пишут друг другу по делу: «Нина». — «Матушка». Мать села напротив меня.

За ужином я смотрела на её руки. Сначала они лежали на столе, как у всех. Потом пальцы на левой начали понемногу удлиняться, сустав за суставом, и ногти потемнели. Мать заметила это на полуслове, когда рассказывала про дорогу. Она убрала руку под стол и села на неё. Продолжала рассказывать: о переправе, где паром ходит сам и берёт плату рыбой, о том, что у неё на участке новый помощник, который боится собственных вех. Голос у неё временами проваливался вниз, в тот гул, и она откашливалась, будто подавилась. Ела она медленно и мало. На висках у неё выступил пот.

А потом я увидела, что у неё шевелятся губы, когда она молчит. Беззвучно, быстро. Я знаю это движение. Пять. Пять. Пятка. Вторая пятка. Я опустила глаза в тарелку и долго не могла их поднять.

— Я привезла тебе, — сказала мать и выложила на скатерть рядом с моей тарелкой камень.

Он был серо-зелёный, гладкий, размером с куриное яйцо, только плоский, и поперёк него шла белая жилка, ровная, как проведённая по линейке.

— Откуда?

— С одного места, где ничего не меняется. Там, кажется, тысячу лет не было ни одного дождя не в своё время. Река течёт там, где текла, камни лежат, где лежали. Этот лежал в воде столько, что вода из него всё лишнее вымыла.

Я взяла его. Он был холодный и тяжелее, чем казался.

— Мама, — сказала я. — Посмотришь, как я фехтую? Меня Бажен ставит. Я научилась длинному выпаду, я колечко на нитке…

— Завтра, — сказала мать. — С утра, пока я свежая. С утра лицо держится легче. — Она улыбнулась и прибавила, глядя на бабушку: — Вечером у меня, видишь, руки разбегаются.

— После завтрака, во дворе?

— После завтрака, во дворе. И покажешь колечко.

Бабушка пила вино и не вмешивалась. Когда мать заговорила о хозяйстве, она поставила кубок.

— На восточном выгоне опять спор с соседями, — сказала бабушка. — Я одна езжу на межевание третий год.

— Ты справляешься.

— Я справляюсь. Я спрашиваю, будет ли кто-нибудь справляться, когда меня не станет.

— Матушка, у меня участок. Вехи на границе, кроме меня, в Первом отделе никто не держит.

— У тебя участок. У тебя дочь. И удел, который был твоим с рождения.

— Удел был твоим с рождения, — сказала мать. — Ты его выбрала. Я не выбирала.

Бабушка посмотрела на неё. Потом на меня. Потом снова взяла кубок.

— Дарью надо готовить к Испытанию, — сказала она другим голосом, будто прежнего разговора не было. — Она хорошо идёт по родословным.

— Я знаю, — сказала мать. — Ты пишешь.

Ночью я почистила клинок, хотя он был чистый. Отыскала свежую нитку, потому что старая лохматилась. Положила камень на полку рядом с остальными, полюбовалась на него, потом взяла обратно и долго держала в руке, пока он не нагрелся.

Разбудил меня стук копыт. Ещё не рассвело. Во дворе у крыльца стоял конь, весь в серой пыли, какой у нас не бывает, мелкой и блестящей, как толчёная слюда. Всадник, совсем молодой, держал в руке дощечку с зарубками и не знал,

кому её отдать. Я спустилась в рубашке. Мать вышла раньше меня, уже одетая. Она взяла дощечку, провела по зарубкам большим пальцем, как слепые читают, и спросила его что-то на языке, которого я не знала. Он ответил. Она кивнула.

— Граница сдвинулась, — сказала она мне, не оборачиваясь. — На моём участке, на два перехода. Если я не поставлю вехи до ночи, по старым кто-нибудь уйдёт не туда и не вернётся.

— А помощник?

— Помощник боится вех. Я говорила.

Она пошла в дом за сумкой. Я стояла на крыльце. Всадник смотрел на меня, на мою рубашку и босые ноги, и отвернулся. Небо над воротами было серое, ровное.

Мать вышла с сумкой. Бабушка — за ней, в накинутом поверх ночной рубашки халате.

— Я напишу, — сказала мать бабушке.

— Напиши, — сказала бабушка.

Мать обняла меня. Руки у неё с утра были прохладные и человеческие.

— В следующий раз, — сказала она. — Колечко.

— Конечно, — сказала я.

Она отошла к своему коню, и на середине двора её очертания поплыли, и она перестала их держать. Конюх снова отступил на десять шагов. Конь под ней присел и фыркнул, но стоял. Она уехала вместе с всадником в пыли, и пыль ещё долго висела в воротах, блестящая.

Бабушка постояла рядом со мной.

— Иди оденься, — сказала она. — Простудишься.

Я пошла. На полке лежали девятнадцать камней и пустое место. Я посмотрела на него и положила серо-зелёный камень в карман штанов. Потом надела штаны.

Больше я её ни о чём не просила, ни в письмах, ни после.

* * *

Через несколько дней, в деревне, малой Мирны встретил меня рёвом.

Он ревел не на меня, а вообще. Сидел у Мирны на бедре, красный, мокрый, с кулаком во рту, и ревел так, что у меня заложило уши, как в галерее. Мирна качала его, перекладывала с руки на руку и продолжала, не останавливаясь, сыпать горох из мешка в горшок, одной рукой.

— Зубы, — сказала она мне вместо «опять ты» и показала себе в рот.

Это слово я знала. Я протянула руки, и Мирна, подумав, отдала мне его. Он был горячий и тяжёлый и сразу вцепился в мою рубашку, а потом полез ко мне в карман. Он всегда лезет в карманы, у Осипа он однажды вытащил огниво. Из моего он вытащил камень.

Я хотела отобрать, потому что камень — это такое, что дети суют в рот. Он и сунул. Прижал плоским боком к дёснам, сжал челюсти и замолчал. Посмотрел на меня поверх камня круглыми мокрыми глазами и засопел.

Мирна перестала сыпать горох.

Она подошла, взяла у него камень, осмотрела: не проглотит ли. Камень был с куриное яйцо, не проглотишь. Она обтёрла его о свой подол и отдала обратно. Малой снова прижал его к дёснам и опять затих. Мирна посмотрела на меня.

— Холодный, — сказала я. Это слово тоже было у меня.

— Холодный, — согласилась Мирна. И сказала что-то быстрое, где я поняла «хорошо» и, кажется, «отдашь».

— Ему, — сказала я. — Пусть.

Она не стала благодарить. Она забрала у меня сына, посадила его на лавку, и он сидел там со своим камнем, сосал его и бил пятками по лавке. Мирна вернулась к гороху.

Я стояла и не знала, что делать с руками. Камень пробыл у меня несколько дней, почти всё время в кармане. Мне стало легко и чуть-чуть жалко, и я сама не поняла, чего жалко.

Мирна досыпала горох, вытерла руки о передник и села на лавку рядом с малым. Показала мне на место с другой стороны. Я села. Через двор у колодца Осип помогал Мальну перевешивать на новую верёвку тот лемех, в который били в ночь пожара. Старая верёвка перетёрлась.

— Ты, — сказала Мирна и тронула меня за колено. Она говорила медленно, раздельно, как в самом начале, когда я не знала ни слова, и глядела мне в глаза, чтобы я видела, как двигаются губы. — Ты сказала. Что узнаешь.

Я поняла каждое слово. «Сказала» и «узнаешь» я знала с покоса.

— Тал, — сказала Мирна. — Мой брат. Его увели весной.

«Тал» я поняла. «Брат» — нет, и Мирна, увидев это, ткнула пальцем себе в грудь, потом выставила рядом два пальца, прижатые друг к другу, и сказала: «Одна мать». «Увели» я тоже не знала. Она сложила руки запястьями вместе и дёрнула их от себя, будто за верёвку. Это я поняла сразу. И тут я вспомнила камень у реки, мокрую рубаху на спине, быстрый тихий голос и короткое «тал», которое я приняла за словечко вроде «там». И своё «да».

Мне стало жарко, как тогда. Только теперь горели не уши, а шея и грудь.

Мирна ждала. Малой стукнул камнем о лавку. Мирна, не глядя, отвела его руку.

Я могла сказать «я не поняла». Я знала, как: «не понимала», «тогда». Но тогда Мирна поняла бы, что в тот день, у реки, она говорила с дурочкой, которая кивает, чтобы не выглядеть дурочкой. И она поняла бы ещё одно: если я не понимала, значит, я не та, за кого она меня приняла, когда говорила со мной как с равной. И я могла сказать «не знаю как», но это было бы правдой, а правда тянула за собой всё остальное: откуда я хожу, через что и к кому.

— Я помню, — сказала я.

Мирна кивнула. Медленно, один раз.

— Сколько… — сказала я и не нашла слова. Показала рукой над лавкой: какой.

— Шестнадцать, — сказала Мирна и показала ладонью: выше неё, ниже мужа. Потом тронула себя пальцем над ле-

вой бровью и провела короткую черту. — Здесь. Камнем, маленьким. — И ещё показала на свой зуб сбоку, и сказала слово, которого я не знала, но по пальцу было понятно: этого зуба у него нет.

Шестнадцать. Выше Мирны. Шрам над левой бровью. Без зуба сбоку. Тал. Весной. Я повторила это про себя несколько раз, как родословную.

Потом Мирна заговорила снова, уже быстрее, и уже не мне, а будто себе. Там были «ночь», «поле», «мать» — или «мама»? — много слов, которых я не знала, и одно, которое повторялось, длинное, и я не смогла его удержать. Она говорила, как всё было. Я видела по её рукам, где кто стоял. Я не понимала, что она говорит, и не могла попросить её повторить так, чтобы понять, и не могла спросить о том, что мне действительно надо было знать: кто увёл, куда, кто видел. У меня не было слов для таких вопросов. У меня были «хлеб», «отава», «холодный» и «я помню».

Она замолчала. Посидела. Взяла малого на колени.

— Узнаешь, — сказала она. Не спросила. Просто сказала, медленно, для меня.

— Да, — сказала я. Второй раз. Теперь я знала, на что.

Осип у колодца завязывал узел и пробовал его на прочность, подтягиваясь всем весом. Мальн смеялся и что-то ему говорил. Я посмотрела на Осипа и ничего ему не сказала. Он бы перевёл мне всё, что говорила Мирна, но тогда пришлось бы рассказать, зачем мне это. А я уже видела его лицо в га-

лерее, когда спросила «зачем», и он ответил про лавку и про время.

Когда мы уходили, малой спал у Мирны на руках, держа камень у щеки.

В галерее, у поворота, где закладывает уши, я сказала Осипу в спину:

— Если кого-то увели под гору… его можно найти?

Палка остановилась.

— Кого?

— Просто.

Он долго стоял, и я слышала, как капает вода.

— Не знаю, — сказал Осип. — Не обещай никому.

Я ничего не ответила. Он пошёл дальше, и я пошла за ним, и всю дорогу до заставы повторяла про себя: шестнадцать, выше Мирны, шрам над левой бровью, без зуба сбоку, Тал, весной. А ещё я думала, что мне нужен кто-то, кто понимает их быстрый язык и будет переводить мне, а не за меня решать, и при этом не станет спрашивать, зачем.

Карман у меня был пустой и лёгкий. Я долго держала в нём руку.

ГЛАВА 5

ПРАЗДНИК

На этот раз рукава мне сшили такие, что в них можно было поднять руку над головой. Я сама ходила к бабушкиной портнихе и показывала: вот так, выпад, вот так, верхняя защита. Портниха вздыхала, мерила меня под мышками и говорила, что так на приёмах не носят. Потом сшила, и оказалось, что носят: за вечер я видела ещё два таких платья на женщинах из пограничных семей, и одна из них подмигнула мне через зал, как своей.

Платье было серое, с серебряной нитью по вороту, нашего цвета. Перед выездом я покрутилась в нём у бабушкиного зеркала, пока бабушка не сказала: «Хватит, оно уже знает, что красивое». Я засмеялась и крутанулась ещё раз.

Большой дом Лаврентия горел весь, от нижних окон до башенки над лестницей. Во дворе стояли кони в чужих попонах, слуги носили факелы, и у ворот было столько народу, что Галина взяла меня за локоть, как маленькую, и я позволила. Внутри пахло воском, горячим вином с гвоздикой и псиной: у Лаврентия в зале всегда лежат две старые борзые, и они не встают ни перед кем.

Отец нашёл нас сам. Он вышел из толпы у камина, в чёрном с тёмно-синим, и стал выше всех вокруг, хотя он не вы-

сокий, просто так держится. Поцеловал бабушке руку. Бабушка сказала: «Тихон», и он сказал: «Матушка Галина, вы цветёте», и она посмотрела на него так, как смотрит на лошадь, которую ей пытаются продать. Потом он повернулся ко мне.

— Это кто? — спросил он. — Я привозил сюда девочку. Где девочка?

— Выросла, — сказала я.

— Без моего разрешения. — Он взял меня за обе руки, отвёл на длину рук и посмотрел. — Рукава.

— Чтобы фехтовать.

— Конечно. Здесь все фехтуют. Только не клинками. — Он засмеялся, легко, и сразу стало понятно, что смеётся он не надо мной, а вместе со мной над всем этим залом. Я люблю, когда он так смеётся. Это бывает три-четыре раза в год, и каждый раз я заранее жду.

— Пойдём, — сказал отец. — Тебя хотят видеть.

— Кто?

— Тот, кто платит за вино.

Он провёл меня через зал, не отпуская руки, и люди перед ним расступались ровно настолько, чтобы мы прошли, и сразу смыкались за спиной. У дальнего камина в кресле с высокой спинкой сидел Лаврентий, начальник Первого отдела. Я видела его раньше, но издали: на праздниках, на похоронах, в окне. Вблизи у него оказались очень светлые глаза и руки в старых белых шрамах, и он держал кубок не за

ножку, а снизу, в горсти, как кружку. Рядом, привалившись к камину, стоял Бажен и ел орехи из вазы.

— Господин начальник, — сказал отец. — Дочь Нины. Моя тоже, но это сейчас неважно.

Я поклонилась так, как учила бабушка, не слишком низко: семья при отделе, а не прислуга. Лаврентий посмотрел на меня снизу вверх, из кресла, и это было хуже, чем если бы он смотрел сверху.

— Дарья, — сказал он так, будто прочёл это в бумаге.

— Просто Даша, — сказала я и тут же пожалела.

— Здесь просто никто не бывает. Сколько тебе до Испытания?

— Год, господин начальник. Чуть меньше.

— Облик держишь?

— Держу.

— Долго?

— Сколько надо.

Бажен за его плечом хрустнул орехом. Лаврентий не оглянулся.

— Ну? — сказал он, не глядя на Бажена. — Ты её ставишь.

— Ставлю, — сказал Бажен. Он стряхнул скорлупу в камин, подумал. — Выпад длинный. Пятку забывает, когда устанет. Злится на себя, а не на противника, это хорошо. Через год будет неприятной.

Мне стало горячо от «длинный» и ещё горячее от «пятку забывает», при всех.

— Неприятной — это хорошо, — сказал Лаврентий. — Нам нужны неприятные.

Он поднял кубок, совсем немного, в мою сторону, и отпил. Отец сжал мне пальцы, и я поняла, что можно уходить. Уходя, я обернулась. Бажен смотрел мне вслед и, когда я обернулась, показал на свою пятку. Я чуть не налетела на борзую.

Потом были танцы, которых я не умею, и сладкое, которое я умею, и какая-то дама из Второго отдела в жемчугах, знакомая отца, назвала удел Галины «милым». Отец всё время был где-то рядом, то у одного камина, то у другого, и каждый раз, когда я его находила глазами, он уже на меня смотрел.

Кеша стоял у колонны со своими: отец, мать и двое старших братьев, одинаковых, широких, в тёмно-зелёном. Отец Кеши, Савелий, — заместитель министра развития, и к их колонне весь вечер подходили люди с бумагами в рукаве. Кеша был в том же цвете и выглядел так, будто его надели на него по ошибке. Он поймал мой взгляд и сделал лицо, которое в детстве означало «спаси меня». Я подошла. Его мать, маленькая, в янтаре, сказала мне: «Дарья, ты прелесть», и потрогала мой рукав, и не нашла, что сказать о рукаве. Его старший брат кивнул мне, средний не заметил. Савелий поклонился, коротко и учтиво, как кланяются чужой родне.

— Сейчас будут петь, — сказал мне Кеша. — Отец всегда говорит, что этот певец лучше прошлогоднего. Каждый год.

— Этот лучше прошлогоднего, — сказал Савелий, не по-

ворачивая головы.

Певец вышел к среднему камину, старый, с арфой на ремне через плечо. Зал не замолчал. Где-то в углу продолжали спорить о лошадях, у столов звенели блюда, и борзые не подняли головы. Певец взял несколько звуков, будто пробовал, тёплая ли вода, и начал:

Белых кобылиц выводит Первый в ночь,

Лидия ведёт, и смех её как сталь…

Голос у него был сухой и ровный, без украшений, и мне это понравилось. Я эту балладу слышала столько раз, что слова в ней давно стали просто звуками, как скрип нашей лестницы. Сейчас я вслушалась, потому что рядом стоял Кеша и потому что голос был хороший. На припеве зал подхватил, не прерывая разговоров, кто громко, кто себе под нос:

Белые кони, белые кони,

смех над горой и в шатре врага…

Дама в жемчугах пела и одновременно поправляла бусы на соседке. Старый воин у стены, которого я не знала, без руки, пел очень громко и мимо и стучал единственной рукой по колену. Два мальчика из младших ветвей пели «белые кони» и ржали по-лошадиному, пока на них не шикнули. Бабушка у дальнего камина не пела. Она стояла с кубком, и было видно, что она слушает, как слушают письмо, которое сама написала.

Ждал её в шатре, оружием звеня…

На этой строфе всегда становится тише. Не совсем, но заметно, будто зал вспоминает, что так положено. Женщины опускают глаза, мужчины перестают жевать. Певец замедлил, взял пониже. Я знала, что сейчас будет, и почувствовала, как Кеша рядом со мной перестал дышать. Я знала, что он сейчас сделает. Я посмотрела на него сбоку и увидела, что он смотрит прямо перед собой, на певца, с лицом таким серьёзным, какое бывает только у него и у его отца.

Вышла из шатра, неся во чреве славу… — пропел певец, медленно, в тишину.

— *…неся в руках штаны,* — пропел Кеша тихо, ровно в такт, на полтона ниже, не шевельнув ничем, кроме губ.

Я держалась ровно столько, сколько держатся под водой. Потом из меня вырвался звук, который нельзя было ни проглотить, ни выдать за кашель: короткий, громкий, через нос. Я зажала рот рукой, и стало ещё хуже. Плечи у меня тряслись. Кеша стоял рядом с таким видом, будто первый раз в жизни слышит эту балладу и глубоко ею тронут.

Певец не сбился. Зал не обернулся весь, обернулись троечетверо. Мать Кеши посмотрела на меня с ласковым ужасом. Мой отец у колонны напротив поднял брови. И у дальнего камина Лаврентий повернул голову. Он не нахмурился. Он просто смотрел на меня, долго, пока певец пел «*кровь его, что Первому дано беречь*», и потом, когда я наконец опустила руку и выпрямилась с мокрыми глазами, он кивнул, как

будто что-то себе подтвердил, и снова повернулся к певцу.

Я не знала, куда деть лицо. Мне было восемнадцать лет, на мне было платье с рукавами для выпада, и меня только что хвалили при начальнике Первого отдела. Я посмотрела на Кешу. Кеша смотрел на певца. Под зелёным воротом у него медленно краснела шея.

Певец допел. Последней строфой было наречение бабушки: «*Дочь Галиной нарекли в высоком зале…*», и на этих словах несколько голов повернулись к ней, и она наклонила голову, едва-едва, как наклоняют, когда пропускают кого-то в дверях. Зал взял последний припев громко, от души, борзые наконец подняли морды и одна из них коротко взвыла, и все засмеялись, и певцу захлопали.

В шуме Савелий оставил свою колонну и пошёл через зал к бабушке. Я видела, как он идёт, неторопливо, с кубком, и как люди, мимо которых он шёл, чуть поворачивались ему вслед. Бабушка ждала его, не двигаясь. Я пошла туда же, сама не знаю зачем. Кеша остался.

— Прекрасно спели, — сказал Савелий бабушке. — Лучше прошлогоднего.

— Каждый год лучше, — сказала бабушка.

— Мой дядя Еремей тоже ходил в тот набег, — сказал Савелий тем же голосом, каким хвалил певца.

Рядом с ними стояли две дамы и мужчина с цепью на шее. Мужчина вдруг заинтересовался своей цепью. Одна дама взяла другую под руку, и они не ушли, но отвернулись

так, чтобы слышать.

Бабушка ответила не сразу. Она поставила кубок на каминную полку, аккуратно, чтобы не стукнул.

— Его имя у нас читают в день павших, — сказала она. — Каждый год. Первым.

— Первым, — согласился Савелий. — Это у него получалось.

Он поклонился ей, так же учтиво, как мне, допил кубок и пошёл обратно к своей колонне. Бабушка взяла свой кубок с полки и не пила. Я стояла рядом и не понимала, что сейчас было, кроме того, что было что-то. Я знала, что Еремей — дядя Савелия, что он погиб давно и что у Кеши это главная семейная история. Я не знала, почему от этих слов мужчине с цепью понадобилось рассматривать цепь.

— Бабушка?

— Иди к отцу, — сказала она. — Он тебя ищет.

Он меня не искал, он стоял у меня за спиной. Взял меня под локоть, легко, двумя пальцами, как берут даму на танец, и повёл к боковым дверям.

* * *

В галерее было холодно и тихо. Высокие окна на одну сторону, на другую портреты, и между ними на полу полосы от уличных факелов. Музыка из зала доходила сюда сквозь стену, как сквозь воду. Отец отпустил мой локоть и пошёл вдоль окон медленно, я рядом.

— Ну, — сказал он. — Что тебе спел этот юный летопи-

сец?

Я покраснела в темноте.

— Ничего.

— Ничего — это когда не смеются. — Он не сердился, я слышала. — Хорошая строка?

— Плохая.

— Плохие лучше всего и смешат. — Он помолчал. — Лаврентий на тебя смотрел.

— Я видела.

— Что ты видела?

Я подумала.

— Он кивнул.

— Да. — Отец остановился у окна, посмотрел вниз, на двор с конями. — Знаешь, что он сказал мне, когда ты отошла от кресла? «В прабабку». И я до сих пор не решил, комплимент это был или нет. Думаю, он тоже не решил. Поэтому и кивнул: запомнил, чтобы решить потом.

— Я же не нарочно.

— Это никого не интересует, — сказал отец мягко. — Запомни только одно, и я отстану. Ты смеялась на той самой строке, на которой Первый отдел держит спину. А Савелий сказал бабушке, — ты слышала, что он сказал?

— Что его дядя тоже ходил в набег.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.